

С. В. Березкина

**Встреча с И. И. Пуциным 11 января 1825 г.
в творческих откликах А. С. Пушкина.**

**К анализу взаимоотношений поэта
и участников тайных обществ**

Beryozkina S. V. Reflections of the meeting with I. I. Pushchin on January 11, 1825 in A. S. Pushkin's works. A contribution to analysis of relations between the poet and the members of the secret societies. The paper is devoted to an establishment of subjects of those A. Pushkin and I. Pushchin conversations, which have not been included in decembrist memoirs about his visiting of Michailovskoye in January, 1825. The author make it by observation a variety of Pushkin's works and his correspondence with K. Ryleyev, A. Bestuzhev, I. Pushchin in 1825. Particular emphasis is placed to a complex of negative impressions, which Pushkin has taken out from talks with Pushchin. It is inferred in the paper that the degree of decembrist frankness in a talk with Pushkin about a secret society was high enough. Arguments in favour of this are advanced by the author on the basis of a number of Pushkin's texts.

11 января 1825 г. — особый день в жизни двух лицейских друзей: Иван Пушин провел его в псковском сельце Михайловское, куда под надзор гражданских и духовных властей был сослан в 1824 г. Пушкин. О встрече в Михайловском Пушин рассказал в своих «*Записках о Пушкине*» (1858). Для посещения Псковской губернии Пушин, с конца 1823 г. служивший в Москве, прервал свой отпуск, который проводил в Петербурге. Встретившись в Пскове с сестрой Е. И. Набоковой, Пушин направился затем в Михайловское, где был радостно

встречен Пушкиным: «вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками... Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату... Смотрим друг на друга, целуемся, молчим!.. Было около восьми часов утра» (Пушин 1989: 68).

Уехал Пушин из Михайловского ночью, простившись со своим другом, как показало время, навсегда.

Страницы воспоминаний Пушина, посвященные встрече в Михайловском, неоднократно анализировались исследователями как одно из наиболее важных свидетельств об отношениях Пушкина с участниками декабристских обществ. В *«Записках»* присутствует чрезвычайно важный эпизод — разговор Пушина с поэтом о тайном обществе. Но достаточно ли полно он отражен декабристом? Что осталось за рамками его мемуаров?

Сложный подтекст беседы Пушкина и Пушина, выводивший встречу в Михайловском за границы восторженного восприятия проявлений их дружбы, был проанализирован в книге Н. Я. Эйдельмана *«Пушкин и декабристы»* (Эйдельман 1979: 239–286; см. также: Эйдельман 1981: 95–108). Эйдельман указал на отдельные мотивы произведений Пушкина, восходящие к неизвестным по мемуарам Пушина «звеньям» их михайловской беседы. Сделано это было Эйдельманом с отсылкой к замечаниям, высказывавшимся в научной литературе ранее в связи с темой *«Пушкин и Пушин в Михайловском»* (см.: Слонимский 1908; Сандомирская 1974). Однако в поле зрения исследователей попали не все произведения Пушкина, вобравшие в себя отклик на его беседу с Пушиным. В настоящей статье я хотела бы восполнить этот пробел и указать на отражения разговора с декабристом в ряде произведений Пушкина 1825 г.

I

Пушин вспоминал в своих *«Записках о Пушкине»*:

«Среди разговора ex abrupto <внезапно — лат.> он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения... и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб

скорей кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом» (Пущин 1989: 69–70).

Комментируя этот текст, Н. Я. Эйдельман показал, что, вопреки убеждению Пущина, ошибался все-таки он, а не Пушкин (Эйдельман 1979: 260). Подлинность истории, поведенной Пушкиным другу, подтверждает опубликованный в 1901 г. запрос начальника Главного штаба И. И. Дибича к министру народного просвещения А. С. Шишкову о Льве Пушкине, который был сделан на следующий день после приезда последнего в Петербург, т. е. 14 ноября 1824 г. (Справка 1901: 436; Летопись 1991: 473, 474). Обо всем этом в Михайловском поэт мог узнать из письма брата Льва (сохранились далеко не все его письма), а тот, в свою очередь, — от В. А. Жуковского. Они активно общались в Петербурге в конце 1824 г.

История с запросом Дибича, выясняющим личность приехавшего в Петербург Пушкина, бросает своеобразный отсвет на описываемую мемуаристом встречу. Знание Пушкиным обстоятельств своей жизни наталкивается на стену предубеждений — для Пущина, как члена тайного общества, личность поэта не может иметь того политического веса, который он в себе усматривает. Предубеждение против него складывалось в среде заговорщиков, весьма критично смотревших на личность и творчество поэта. Подобное отношение проглядывает и в известном михайловском эпизоде, где речь заходит о тайном обществе:

«Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: “Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать”. Потом, успокоившись, продолжал: “Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям”. Молча, я крепко расцеловал его — мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть» (Пущин 1989: 70–71).

Странно звучат в устах Пушкина слова, сказанные им, по уверению Пущина, о тайном обществе в начале 1825 г.

В январе 1826 г., касаясь этой темы, Пушкин писал Жуковскому нечто принципиально иное: «кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о

нем? о заговоре кричали по всем переулкам» (Пушкин 1937–1949. Т. 13. С. 257). Может быть, и в михайловском «переулке» о нем говорили довольно откровенно? Похоже, что да. Подобное мнение высказывалось многими исследователями, с сочувствием (по разным соображениям — научным и ненаучным) откликнувшимся на идеи М. В. Нечкиной, считавшей, что Пущин подробно посвятил Пушкина в дела тайного общества. С этой концепцией, указывая на ее передержки, неувязки и отсутствие достаточно аргументированной базы, в пушкиноведении много спорили (см. библиографию работ М. В. Нечкиной, ее последователей и критиков: Гессен 1936). И тем не менее, в этой концепции было рациональное зерно: Пущин, действительно, сказал Пушкину о тайном заговоре больше, чем сообщил об этом в своих *«Записках»*. Думаю, никто из друзей-декабристов, познакомившихся с *«Записками»* Пущина, и не догадывался о степени его откровенности в разговоре с Пушкиным. Совершенно поразительный материал для раскрытия этого обстоятельства дает эпиграмма Пушкина *«Заступники кнута и плети...»*.

Это произведение Пушкин написал одновременно с элегией *«Андрей Шенье»* (на полях ее автографа) в феврале–апреле 1825 г. (об уточнениях принятой датировки эпиграммы см.: Фомичев 1983). Высказывалось мнение о том, что к созданию элегии Пушкина подтолкнули михайловские разговоры с Пущиным о готовящемся политическом перевороте (Сандомирская 1974: 12). Поэт создавал произведение, как бы представляя себе свою судьбу в условиях революционного взрыва, и художественная мысль его при этом питалась трагическими предчувствиями: он видел себя, подобно французскому поэту А. Шенье (1762—1794), в темнице, приговоренным к смерти узурпаторами революционных свобод народа (см. об этом: Слонимский 1908: 525–526):

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Позднее трагические образы, вызывавшиеся в сознании поэта мыслью о перевороте, отозвались в наброске, записанном в 1826 г. рядом с изображением виселицы и пяти казненных декабристов: **«И я бы мог как**

Встреча с И. И. Пущиным 11 января 1825 г. в творческих откликах А. С. Пушкина

[шут ви <сеть> <?>]...» (Пушкин 1937–1949: Т. 3. С. 461). Мысль о победе или, напротив, поражении политического заговора влекла поэтического воображение Пушкина к одному и тому же образу своей казни.

«Самое эмоциональное впечатление от разговоров 11 января» между поэтом и его другом Н. Я. Эйдельман связал с элегией «*Андрей Шеньев*» (Эйдельман 1979: 315). Характерно, что именно в процессе работы над «*Андреем Шеньев*» Пушкин вспомнил о такой популярной среди декабристов личности, как адмирал Н. С. Мордвинов. Эпизод его деятельности, косвенным образом отразившийся в эпиграмме «*Заступники кнута и плети...*», вероятнее всего, стал известен в Михайловском благодаря Пущину (в печати сообщений о нем не появлялось, нет о нем упоминаний и в пушкинской переписке). Историю эпиграммы «*Заступники кнута и плети...*», долгое время остававшейся загадкой для комментаторов, раскрыл в 1968 г. И. Л. Фейнберг, установивший, что эпиграмма писалась как отклик на осеннюю сессию Государственного совета 1824 г., где обсуждалась отмена телесных наказаний в виде кнута и плетей (см.: Фейнберг 1981; говоря о поводе к написанию эпиграммы, автор не высказал каких-либо соображений об источнике этих сведений поэта). К отмене наказаний страстно призывал член Государственного совета адмирал Н. С. Мординов. Возражали ему, как истинные «заступники кнута и плети», братья князя Д. И. и Я. И. Лобановы-Ростовские, главным образом министр юстиции Д. И. Лобанов-Ростовский, один из сподвижников всесильного А. А. Аракчеева, поверженный после восшествия на престол Николая I. В результате решение об отмене телесных наказаний, принятое Государственным советом, император не утвердил, и эти наказания были сохранены в российском судопроизводстве.

Тем, кто обращался к автографам Пушкина, известны трудности, связанные с чтением и публикацией текста эпиграммы «*Заступники кнута и плети...*». Поэт ее не закончил, а написанную часть не доработал. Существует гипотеза о том, что финальный стих эпиграммы следует читать так: «Я <?> дам <?> царю <?> мой первый кнут». Именно в таком виде он приведен в изданиях пушкинских сочинений, где текст эпиграммы готовила Т. Г. Цявловская (Пушкин 1937–1949: Т. 2. С. 416; Пушкин 1959–1962; Пушкин 1974–1978).

Следует сразу же решительно заявить, что в автографе Пушкина (рабочая тетрадь ПД 835, Л. 63; Пушкинский Дом) опорных написаний для слов «Я дам царю» нет (см.: Раб. тетр. Т. 4). Эти слова в тексте

произведения Пушкина — чистой воды подлог, осуществленный во имя идей эпохи, породившей подобное «прочтение». Сомнительная честь изобретения антимонархических конъюнктур в эпиграмме о «заступниках кнута и плети» принадлежит, кстати, не Т. Г. Цявловской, а В. Я. Брюсову, который, работая над изданием сочинений Пушкина, как известно, частенько «дописывал» их, опираясь на свою поэтическую интуицию (см.: Брюсов 1919: 256). Текст эпиграммы «*Заступники кнута и плети*» в «редакции» Брюсова критически оценил П. Е. Щеголев (см.: Щеголев: 328). Тем не менее, благодаря Цявловской «прозрения» Брюсова вернулись в пушкиноведение, минуя весьма авторитетные в научном плане издания Пушкина 1920–1930-х гг. Свою позицию в отношении «*Заступников кнута и плети*» Цявловская с жаром отстаивала в ряде работ (Цявловская 1941; Цявловская 1961; Цявловская 1966; в поддержку ее концепции написана статья: Берков 1966). Критическую оценку работам Цявловской дал В. В. Виноградов (см.: Виноградов 1964). Несогласие с текстом эпиграммы в «редакции» Цявловской выразил и Б. В. Томашевский, который в подготовленных им изданиях давал заключительный стих «*Заступников кнута и плети*» в единственно возможном для столь сложного и недоработанного черновика виде: «<...> мой первый кнут» (см.: Пушкин 1956–1958; тот же текст см. и в других изданиях середины 1950-х гг., выпущенных Томашевским).

Однако кому же автор эпиграммы угрожал «кнутом»? Т. Г. Цявловская считала, что в произведении Пушкина выражена мечта о физической расправе с царем. О нелепости подобного предположения писал в свое время В. В. Виноградов. Планы цареубийства — да, это в истории тайных обществ было, но чтобы высечь кнутом российского императора?!

Эпиграмма Пушкина содержала угрозу физической расправы над теми, кто защищал телесные наказания, т. е. в данном случае над князьями Лобановыми-Ростовскими (с Д. И. Лобановым-Ростовским, кстати, Пушкин впоследствии — в 1830-х гг. — встречался на заседаниях Российской Академии). Угроза в эпиграмме имела пафосное наполнение, характерное для произведений высокого гражданского звучания. Поэт верил, что социально опасные деяния должны иметь перед своим лицом когорту готовых к кровавому отмщению судей. Любопытно, что в 1825 г. эти по-молодому рискованные мысли уживались в нем с достаточно здравыми представлениями о терроре. Автограф эпиграммы, в которой Пушкин, как настоящий радикал, угрожает «заступникам кну-

Встреча с И. И. Пущиным 11 января 1825 г. в творческих откликах А. С. Пушкина

та и плети» расправой, соседствует со стихами «*Андрея Шенья*», живописующими кровавый ужас диктатуры Робеспьера. Обращаясь к Робеспьеру, пушкинский Шенья взывает из темницы:

...а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь;
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи губя...

В рабочей тетради Пушкина эти стихи из «*Андрея Шенья*» располагаются в центральной части листа, обрамляет же их текст эпиграммы «*Заступники кнута и плети...*», который записан по правому и левому полю.

На этапе, который переживает современное пушкиноведение, важно подчеркнуть, что в александровскую эпоху, вплоть до последних ее дней, как это ни страшно звучит для искателей «сплошного христианского контекста» в творчестве Пушкина, революционный радикализм находил в душе поэта сочувственный отклик. Выражением радикальных настроений в творчестве Пушкина явились такие стихотворения, как «*Холоп венчанного солдата...*» (эпиграмма 1819 г. на А. С. Стурдзу, пророчащая ему «смерть немца Коцебу»), «*Кинжал*» (1821), «*Заступники кнута и плети...*». К этому ряду следует еще добавить приписываемые Пушкину эпиграммы «*В столице он — капрал...*» (она заканчивается словами, относящимися к Аракчееву: «*Кинжала Зандова везде достоин он*») и «*Мы добрых граждан позабавим...*» (ее финал: «*Кишкой последнего попа Последнего царя удавим*»); несмотря на предпринимавшиеся попытки выведения этих эпиграмм за пределы изданий сочинений поэта, они сохранили свои позиции в корпусе «*Dubia*» Пушкина, поскольку приписываются поэту не без оснований.

Революционно-радикальная фразеология была органично присуща творческому мышлению таких поэтов, как, например, К. Ф. Рылеев и, на определенном этапе, Пушкин. Согласно воспоминаниям Н. И. Греча, «*Рылеев, раздраженный верноподданническими выходками газеты, сказал однажды Булгарину: "Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим"*» (Греч 1930: 694). Свидетельство Греча, позднейшее по своему характеру, подтверждается высказыванием самого Ф. В. Булгарина, найденным сравнительно недавно среди его агентур-

ных записок 1826–1827 г. (напечатано: Булгарин 1998: 75, 245). По-видимому, перед верхушкой III Отделения Булгарин спешил похвастаться обращенными к нему словами Рылеева. Однако вкладывал ли Рылеев какое-либо конкретное содержание в свою угрозу? Адресация угрожающих предупреждений тиранам и их приспешникам характерна для «горячих» сатирических инвектив декабристской эпохи. Это поэтический прием, рождавшийся из общего «либералистам» негодования при виде несправедливостей, притеснений, «рабства».

Эпиграмма «Заступники кнута и плети...» — подлинно декабристское произведение и по своему звучанию и по своей тематике. Внимание Пушкина к телесным наказаниям как одной из язв российской действительности особенно обострилось на юге, в декабристском окружении. В письме от 2 января 1822 г. он с удовлетворением сообщал П. А. Вяземскому об отмене палок в дивизии, которой командовал М. Ф. Орлов. «Заступники», защищающие «кнут и плети», Пушкину ненавистны, но что поразительно — он смотрит на них как победитель! В начале 1825 г. поэт был убежден, что недалеко то время, когда над ними будет совершен суд. Вот как он пишет об этом в своем стихотворении (привожу ст. 7–10 по автографу, с моими уточнениями):

Когда <по> делу позовут
Меня на <нрзб.> расправу,
За ваше здравие и славу
<...> мой первый кнут.

Совершенно недвусмысленно в эпиграмме звучит радостная убежденность поэта в том, что ему обеспечено участие в «расчете» с «заступниками кнута и плети» (черновой вариант автографа: «**Как для расчета позовут**»). Желание автора эпиграммы принять в нем участие не вызывает никакого сомнения. Более того: Пушкин уверен, что его «**позовут**» для этого «дела»! Откуда же эта уверенность? Вероятнее всего, от Пущина — деятельнейшего, активнейшего члена тайного общества (о позиции Пущина-декабриста в это время см.: Эйдельман 1979: 242–245; известно, что в конце 1824 — начале 1825 гг. Пущин видел перед собой обширное поприще для длительной работы по подготовке переворота, хотя и считал при этом, что неожиданно счастливого стечения обстоятельств ни в коем случае не следует упускать, чтобы, как он писал в декабре 1825 г., не прослыть «**подлецами**»). Видимо, в начале 1825 г.

Пущин довольно оптимистично смотрел на перспективы движения, и свой оптимизм он сумел передать другу. Отсюда в эпиграмме «*Заступники кнута и плети...*» победительные интонации в отношении таких столпов александровской России, как Лобановы-Ростовские.

Уверенность автора «*Заступников кнута и плети*» в том, что его позовут и для «дела» и для «расчета», имеет важный биографический аспект, почему-то ускользнувший от внимания пушкинистов. Он связан с одним из самых спорных вопросов научной биографии Пушкина: было ли незадолго до декабрьского выступления послано из Москвы в Михайловское Пущиным письмо, в котором он «извещал» Пушкина о том, что «едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем»? Об этом, опираясь на рассказы Льва Пушкина, сообщал в своих воспоминаниях Н. И. Лорер (Лорер 1988: 469). Сообщение этого декабриста активно обсуждалось в научной литературе и, в конце концов, вошло в «*Летопись жизни и творчества Пушкина*» с датировкой «29 ноября — 4 декабря 1825» (написание письма Пущиным в Москве) и «5–13 декабря» (получение его в Михайловском) (см.: Летопись 1991: 578, 683). Еще до получения этого письма Пушкин, узнав о смерти Александра, попытался выехать в Петербург, но вернулся в Михайловское из-за предвещавших дурное примет (предприятие датируется 1–2 декабря 1825 г. — Летопись 1991: 577, 682–683). В мемуарной литературе сохранилось множество упоминаний об этой попытке поэта выехать из Михайловского в Петербург, с отсылкой к его рассказам (исчерпывающий список источников с указанием на свидетельства И. П. Липранди, А. Мицкевича, С. А. Соболевского, М. П. Погодина, П. А. Вяземского, Н. И. Лорера и М. И. Осиповой см.: Гессен 1936; Летопись 1991: 577).

Эти сообщения рассматривал Н. Я. Эйдельман, который, вслед за С. Я. Гессеном, считал, что Пушкин был вдохновлен рискованными соображениями Пущина о возможности их несанкционированной властями встречи в Петербурге, при этом связи между выездом Пушкина в столицу и предстоящим выступлением заговорщиков он не усматривал (Эйдельман 1979: 281–283).

Эти выводы безупречны, если смотреть на них с точки зрения хронологии событий (я ее опускаю, поскольку соображения о времени подачи Пущиным прошения об отпуске в Петербург и времени отправления им письма к Пушкину с известием о своем выезде в столицу, — все это было ранее принятия заговорщиками решения о подготовке

выступления — подробно рассмотрены в работах Гессена и Эйдельмана). Между тем, если сопоставить сведения о поездке Пушкина и письме к нему Пуцина с содержанием эпиграммы на Лобановых-Ростовских, то они приобретают совершенно особый смысл. По сути дела, в тексте *«Заступников кнута и плети»* мы единственный раз можем услышать — без каких-либо посредников! — голос самого Пушкина, который свидетельствует в пользу того, что и выезд из Михайловского в Петербург, и московское письмо к нему Пуцина были осуществлены ввиду «дела», предстоящего заговорщикам. Так и должно было быть, поскольку Пушкину, судя по тексту эпиграммы, было дано обещание, что он будет для него востребован... Подобное обещание мог дать другу-лицеисту только Иван Пуцин и только 11 января 1825 г.¹. А если бы этого не было, то автора эпиграммы можно было бы заподозрить в тривиальном фанфаронстве.

В эпиграмме, которая всегда создается в расчете на то, чтобы ее услышали и единомышленники и враги, беспочвенных заявлений быть не может. Думаю, обещание все-таки было. И даже более того: создается впечатление, что Пушкин знал о возможности выступления в случае смерти императора, о которой существовала договоренность между членами тайных обществ. Перемена царствования задолго до 14 декабря рассматривалась участниками тайных обществ как наиболее благоприятный момент для открытого выступления. Поэтому, видимо, поэт и попытался выехать из Михайловского в Петербург при известии о смерти Александра.

А теперь зададимся вопросом, который С. Я. Гессен, считавший, что в Михайловском Пуцин «красноречивым молчанием подтвердил подозрения Пушкина» относительно существования тайного общества, сформулировал следующим образом: «Почему же Пуцин внезапно решил посвятить своего друга в тайну, которую ревниво оберегал от него в течение многих лет»? (Гессен 1936: 368). Вот какой ответ на него дал Гессен:

¹ Позволю себе в примечании дать «художественную реконструкцию» этого ускользнувшего из мемуаров Пуцина эпизода его михайловской встречи с другом:

« — Обещай мне, что, когда начнется, ты позовешь меня.

— Обещаю».

И дружеское рукопожатие скрепило это немногословное объяснение.

«Очень может быть, что внезапная откровенность Пущина вызвана была именно сознанием того, что Пушкин, накрепко запертый в деревне и стесненный в каждом своем поступке неотвязчивым и бдительным надзором начальства, все равно лишен был физической возможности принять какое-либо участие в подготовлявшихся событиях и, стало быть, теперь овладение тайной не угрожало его безопасности. Для того чтобы оценить вероятность этой догадки, надо учесть, что из всех имевшихся у будущих декабристов мотивов к неприятию Пушкина в тайное общество для Пущина, несомненно, доминирующим всегда было стремление уберечь поэта от опасности, связанной с участием в политическом заговоре» (Гессен 1936: 369).

Так ли это? Не преследовал ли Пущин иных целей, возбуждая в Пушкине интерес к деятельности тайного общества и сообщая ему некоторые тактические планы заговорщиков (возможность переворота в случае смерти императора)? Попробуем ответить на этот вопрос.

II

Приезд друга-лицеиста имел видимые последствия в творческих занятиях поэта. В одной из своих последних статей В. Э. Вацуро обратил внимание на то, что среди стихотворений Пушкина, относящихся к 1825 г., более половины являются шуточно-сатирическими (Вацуро 1999: 153). В формы сатиры выливалось не только негодование Пушкина, стесненного условиями «северной ссылки». Ведь еще совсем недавно, осенью 1824 г., дописывая в Михайловском начатое на юге и адресованное П. Я. Чаадаеву послание «*К чему холодные сомненья?..*», Пушкин утверждал:

Чдаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина...

Настроение, утверждавшееся в этом послании, «охлаждало» гражданские инвективы первого послания Пушкина к Чаадаеву («*Любви, надежды, тихой славы...*», 1818–1819). Изменение позиции, отраженное в стихотворении «*К чему холодные сомненья?..*», говорило о серьез-

ности поворота в воззрениях Пушкина на перспективы освободительного движения в России, о котором он в яркой образной форме рассказал читателю в стихотворении 1823 г. «Свободы сеятель пустынный...». Но вот начинается 1825 год, и настроение поэта меняется.

На этот «михайловский» год приходится новый подъем интереса Пушкина к гражданским мотивам и шутивно-сатирическим жанровым формам. Тот же пушкинский «*Андрей Шеньев*» в 1825 г. буквально «перебесил», по словам А. А. Дельвига, цензуру, которая при публикации исключила из его текста несколько десятков стихов. Поэт-изгнанник писал в этой элегии о поэте-узнике (см.: Виролайнен), и это способствовало формированию острого аллюзивно-автобиографического подтекста произведения. С фигуры «самодержца» Робеспьера (в черновиках элегии он фигурирует и как «губитель роковой», «пигмей самодержавный, завистник гения» — Пушкин 1937–1949: Т. 2. С. 89б) внимание читателей переключалось на взаимоотношения Пушкина с императором и — шире — на современное состояние российского общества:

Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламеня,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич достигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду...

Не в последнюю очередь обострение в 1825 г. идейно-тематической наполненности творчества Пушкина было обусловлено реакцией на те ожидания, которые связывали с его именем К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев.

Не случайно И. Б. Мушина, оценивая переписку Пушкина с ними 1825 г., возвращалась мыслью к моменту, предшествовавшему отъезду Пушкина из Петербурга в Псковскую губернию: «Есть основания предполагать, что Пущин и Рылеев выработали определенную тактику агитационно-пропагандистского воздействия на Пушкина» (Переписка 1982: 434). Вот любопытная деталь: переписка Пушкина с Рылеевым началась с при-

езда Пущина в Михайловское. С собой Пущин привез из Петербурга письмо Рылеева — первое письмо к поэту и сразу же на «ты» как доказательство особого доверия и дружбы (их переписка, несмотря на рамки всего лишь одного, 1825 года, была очень интенсивной — это 11 посланий, три от Пушкина и восемь от декабриста). С этого же момента усиливается и литературно-полемический накал писем Александра Бестужева к Пушкину, в которых отстаиваются преимущества гражданского направления в литературе. Бестужев, познакомившийся с первой главой *«Евгения Онегина»*, проявляет беспокойство по поводу отсутствия в романе сатирических тенденций.

Кроме того, в самом начале января выходит в свет первый выпуск альманаха А. А. Дельвига *«Северные цветы»* (на 1825 год). Рылеев и Бестужев понимают, что это конкурент *«Полярной звезды»*, которая до *«Северных цветов»* на поприще русских альманахов соперников не имела. Начинается борьба узко-литературных интересов, и в письме к П. А. Вяземскому от 12 января 1825 года Бестужев пишет, оценивая публикацию стихов Пушкина на страницах *«Северных цветов»*: **«Пушкин не в своей колее»** (Бестужев 1981: 481). Каким же стихам Пушкина Александр Бестужев дал подобную оценку? Это ни много ни мало как *«Песнь о вещем Олеге»*, *«Демон»*, *«Прозерпина»* и строфы VII–X из главы второй *«Онегина»* с характеристикой Ленского. В том же письме к Вяземскому Бестужев сообщал из Петербурга о Пущине: **«Пущин едет к Пушкину»** (Бестужев 1981: 481). Л. Н. Назарова дала очень любопытный комментарий к одному из писем Рылеева начала 1825 г.: это была борьба за авторов во имя успеха *«Полярной звезды»*. С этой борьбой она связывала и пущинскую поездку в Михайловское (а затем, кстати, и дельвиговскую в апреле 1825 г.): по ее мнению, Пущин, отправляясь в Михайловское, имел в виду намерение издателей *«Полярной звезды»* оказать воздействие на Пушкина и получить от него для своего альманаха, обойдя дельвиговский, произведения определенной идейной ориентации (Лит. наследство 1954: 148).

В своих *«Записках»* Пущин представил поездку в Михайловское как проявление естественного для него желания навестить в изгнании старого друга. Конечно же, это было не совсем так. За строкой мемуаров Пущин оставил свои разговоры в Петербурге с Рылеевым и Бестужевым о поэте и его возможной деятельности в интересах тайного общества. В определенном смысле Пущин был их эмиссаром и — довольно удачливым: похоже, ему удалось увлечь воображение поэта

перспективой готовящегося переворота. Вольнолюбивая муза Пушкина получила новый стимул.

Впечатление было усилено многоаспектной полемикой вокруг сатиры и поэзии высокого гражданского звучания в письмах Рылеева — Бестужева — Пушкина начала 1825 г. Эта переписка анализировалась многими исследователями, поэтому я остановлюсь на ней очень кратко. Отстаивая право художника на свободу творчества, Пушкин противился узкопартийным представлениям о литературе, удерживающим ее в рамках злободневных гражданственных побуждений.

Возражая своим оппонентам, Пушкин высказывал в адрес произведений, рожденных в лоне, как он писал, «республики словесности», нелицеприятные оценки (например, по поводу «патриотических од» Рылеева), а порой и пародировал их, указывая на неутешительные для «гражданствующих» поэтов стилистические перспективы (см., например, «Оду его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову» (1825), в которой Пушкин задел Кюхельбекера и Рылеева как авторов «од» на смерть Байрона).

Несмотря на эти расхождения, у собеседников, несомненно, было и то, что их объединяло. Вот, например, письмо Пушкина к Бестужеву от 24 марта 1825 года, в котором он ответил на критику «Онегина»: «Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и помину нет в “Евгении Онегине”. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатире <...> Ах! Если б заманить тебя в Михайловское» (Пушкин 1937–1949: Т. 13. С. 155).

Последние слова явно относились к тому обилию эпиграмм («около 50»), которые, судя по письму Пушкина к Вяземскому от конца марта — начала апреля 1825 года, были написаны Пушкиным и которые могли заинтересовать Бестужева (Пушкин 1937–1949: Т. 13. С. 160). Однако почему же в разговоре о сатире Пушкин упомянул «набережную»? Это был образ из разряда намеков, легко распознававшихся людьми александровской эпохи: «набережная» — это столица империи, место, где находится царский дворец...

Н. Я. Эйдельман писал по поводу этого пушкинского письма к Бестужеву: речь в нем идет «об эпиграммах, “сатирах”, накопленных и готовых к обращению; и если они двинутся, то затрещат набережные, то есть царские дворцы и особняки на Петербургских набережных» (Эйдельман 1979: 253). Весь разговор о сатире в переписке Пушкина — Бестужева — Рылеева 1825 года Эйдельман свел к такому знаменателю: он считал, что у

Встреча с И. И. Пуцциным 11 января 1825 г. в творческих откликах А. С. Пушкина

автора «*Евгения Онегина*» было «фактически спрошено — разве у декабристов-издателей и Пушкина разные враги, разные предметы любви и ненависти? По мнению исследователя, Пушкин, отвечая на этот вопрос, подтвердил свое единодушие с ними (Эйдельман 1979: 293).

Итогом эпистолярной дискуссии о сатире стала эпиграмма Пушкина «*Прозаик и поэт*» (1825), адресованная, как я думаю, Александру Бестужеву (об истории изучения этой эпиграммы, долгое время представлявшей собой загадку для пушкинистов, см.: Березкина 2003):

О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Вложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу.
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

Упоминание об этом стихотворении содержится в воспоминаниях Д. И. Завалишина «*Пребывание декабристов в тюремном заключении в казематах в Чите и в Петровском заводе*» (написаны не ранее 1870 года, опубликованы в полном объеме в 1980 году; небольшой отрывок: Гессен 1935: 198). В них Завалишин сообщал, что в 1827 году вместе со стихотворением «*Во глубине сибирских руд...*» Пушкиным было отослано в Сибирь «толкование, к кому относилось его стихотворение “*О чем, прозаик, ты хлопочешь!*”», и что оно, наряду со знаменитым пушкинским посланием, произвело в осужденных «*сильное возбуждение революционного чувства*» (Писатели-декабристы 1980: 246).

«*Толкование*», о котором писал Завалишин, придавало эпиграмме политический характер, намекая на отнесение в ней слова «враг» — и угрозы в его адрес — к императору (если иметь в виду авторскую датировку стихотворения 1825 годом, то приходится отнести его к Александру I, которому Пушкин, по его признанию, «подсвистывал» до самой смерти).

И. Б. Мушина, назвавшая сообщение Завалишина «неубедительным», прокомментировала его следующим образом: «Скорее всего, чья-то интерпретация пушкинских строк была выдана за авторское их “толкование”» (Писатели-декабристы 1980: 402). В этом суждении есть сторона, с которой нельзя не согласиться: судя по работе А. И. Роговой,

посвященной источникам текста «*Во глубине сибирских руд...*» (см.: Рогова; Рогова 1991), никакого собственноручного «толкования» эпиграммы, якобы посланного Пушкиным в Сибирь, быть не могло. Вероятнее всего, Завалишин услышал его там и, думаю, в передаче от очень авторитетного лица. С «прозаиком» Бестужевым пути Дмитрия Завалишина в Сибири не пересекались, однако слухи о «революционном» толковании эпиграммы вполне могли идти и от него. Послание Пушкина декабристам достигло Сибири не ранее второй половины 1827 года. Интересно отметить, что хронологически это близко ко времени первой журнальной публикации «*Прозаика и поэта*». Эпиграмма была напечатана в начале января 1827 г. на страницах «*Московского вестника*». Журнальная публикация, достигнув Сибири, могла привлечь к себе внимание осужденных декабристов и послужить толчком к возбуждению разговоров об этом произведении Пушкина.

Готовностью к творчеству в сатирическом роде дышит и еще одно, по-видимому, «михайловское» произведение Пушкина — стихотворение «*О муза пламенной сатиры!..*». Оно носит программный характер: в нем с негодованием перечисляются типажи «сильных мира сего», которых поэт готов заклеить своим сатирическим пером. Пушкин как сатирик был уверен в своих огромных художественных возможностях. Именно поэтому призывы, исходившие из декабристского лагеря и нацеленные на оживление сатирической музыки Пушкина, находили в нем сочувственный отклик.

История эпиграммы «*Прозаик и поэт*» обнаруживает, насколько близки были Пушкину в 1825 года цели декабристов. Поэт не был членом какого-либо тайного общества, но заговорщики очень рассчитывали на его произведения. И он знал об этом! Истории своих взаимоотношений с лагерем декабристов Пушкин посвятил в 1827 г. стихотворение «*Арион*», где сказал о себе: «А я — беспечной веры полн, — Пловцам я пел». О том же говорили и воспоминания А. О. Россета (1812–1881), записанные П. И. Бартевым: «Вас <илий> Львович Давыдов в Сибири, услыхав от А. О. Россета подробности о смерти Пушкина, плакал, а потом рассказывал, что он говаривал Пушкину: “Мы тебя не примем в общество, но ты будешь нам петь”» (цит. по: Бартев 1992: 378).

Василий Давыдов общался с Пушкиным в Кишиневе, а затем в Каменке, где, вероятнее всего, и были сказаны эти слова. Они еще раз указывают на важнейший аспект во взаимоотношениях Пушкина с декабристами («ты будешь нам петь»).

Приезд Пушкина в Михайловское, как и предполагалось заговорщиками в Петербурге, должен был дать новый импульс творческим занятиям поэта, который, судя по всему, откликнулся на него с пониманием.

III

Два раздела настоящей статьи были посвящены позитивным впечатлениям Пушкина от михайловской встречи с другом. В последнем разделе я хотела бы коснуться того негативного осадка, который остался у поэта после разговора с Пущиным. Удовлетворен ли был поэт своей ролью «таинственного певца»?

В мемуарах декабристов немало упоминаний о том, что Пушкин очень хотел быть членом тайного общества. Что стимулировало это желание поэта? По наблюдениям Т. Н. Жуковской, в тайное общество стремились в поисках не только «политического инструмента», но и «формы досуга, самореализации, стержня индивидуальной биографии». Принадлежность к тайному обществу придавала «обыденности яркий колорит, а личности, принадлежащей к “тайному обществу”, значительность в общественном и собственном мнении» (Жуковская 1999: 79, 82). Романтическому сознанию поэта были близки исповедуемые членами тайных обществ «понятия свободы, дружества, братства, борьбы с тиранией, подвига», которые в 1810–1820-х гг. получили «значение неперемных условий достойного существования» (Жуковская 1999: 80). Не касаясь вопросов мировоззрения Пушкина, следует указать и на его огромный интерес к общественно-политической жизни России и Западной Европы. «Либералисты» начала 1820-х гг. — это была самая живая, импульсивная аудитория для обсуждения этих сторон политической жизни своего времени.

Желание поэта стать членом тайного общества было известно, судя по «Запискам о Пушкине», Пущину. То же самое мы находим в воспоминаниях И. Д. Якушкина о пребывании Пушкина в Каменке в ноябре 1823 г. Поэт был глубоко огорчен, узнав, что разговор об участии в политическом тайном обществе был всего лишь шуткой. Фактически у нас нет свидетельств, охватывающих период до декабря 1825 г., об ином (например, иронично-холодном) отношении Пушкина к этой стороне жизни близкого ему круга дворянской молодежи.

Это уже потом, вернувшись осенью 1826 г. из ссылки, Пушкин начал рассказывать ничего не ведающему С. А. Соболевскому о том, как он отказался от вступления в тайное общество, дабы не стать жертвой

«белой головы», т. е. А. Вейсгаупта, вождя иллюминатов и, как считалось, идейного вдохновителя всех заговорщических организаций, — вот такая сказка была сочинена поэтом на основе давнего петербургского гаданья, предрекавшего ему смерть от человека с «белой головой»! Стоит обратить внимание на то, что в этом рассказе решение принимается не заговорщиками, а героем. Но в действительной жизни Пушкина все было иначе. Со времен южной ссылки поэт глубоко переживал факт своего устранения от деятельности тайных обществ.

Свидетельства недоверчивого отношения к поэту со стороны декабристов долгое время не принимались всерьез ни историками, ни пушкинистами, которые к тому же отказывались и печатать их в полном объеме. Между тем, академическое пушкиноведение должно, как мне кажется, впитать в себя «горькую истину»: заговорщики не приняли поэта в свои ряды. Это был их, а не Пушкина выбор. Причина была Пушкину хорошо известна: это негативная репутация, тянувшаяся за ним из Петербурга и особенным образом разросшаяся на юге. Людей декабристского склада настораживало в Пушкине тяготение к представителям аристократии, оргиастический образ жизни, преданность наслаждениям, граничащая со слабостью характера, наконец, его импульсивность.

Между тем, по поводу отношения южных декабристов к Пушкину еще С. Я. Гессен заметил, что «в тайных обществах немало было людей, могущих поспорить в легкомыслии с Пушкиным, и их не только никто не боялся, а, напротив, иной раз им доверяли даже ответственные поручения» (Гессен 1935: 198–199).

Видимо, имелись и другие причины для недоверчивого отношения к Пушкину со стороны заговорщиков. О репутации поэта как человека, не достойного доверия в качестве участника конспиративной политической организации, известно из позднейших высказываний декабристов И. И. Горбачевского и Д. И. Завалишина.

Свидетельство Горбачевского дважды анализировалось исследователями (см.: Эйдельман 1979: 143–168; Парсамов 1998: 108–114). Меньшее внимание было проявлено к высказыванию Завалишина, который писал о Пушкине:

«Он всеми силами добивался быть принят в Тайное общество, но его заповедано было не принимать, зная крайнюю его изменчивость, и чем ближе кто его знал, тем более был уверен в этом крайнем его недостатке, имея множество фактов быстрых его переходов от одной крайности к другой, и законное основание не доверять ему из одного его тщеславия проникнуть в

великосветский и придворный круг, чтоб сделаться там “своим” человеком, что в нем всегда подмечали» (Писатели-декабристы 1980: 247–248; частично этот документ был напечатан: Гессен 1935: 198).

Конечно, свидетельство Завалишина было повторением слов о Пушкине, которые до декабря 1825 г. он слышать никак не мог. Например, о каком «великосветском и придворном круге» могла идти речь, когда Пушкин с 1820 г. был удален из столицы? Слова Завалишина — отзвук позднейших разговоров о поэте и его жизненном пути, которые велись декабристами в Сибири.

Свидетельство И. И. Горбачевского, рассматриваемое в комплексе с теми намеками на сложные обстоятельства жизни, которые встречаются в текстах Пушкина, проанализировал Н. Я. Эйдельман (Эйдельман 1979: 143–168); при этом свидетельство Завалишина, несомненно, вторичное по отношению к воспоминаниям Горбачевского, им не учитывалось. Его анализ опирался на разработку этой проблемы, одной из самых сложных в научной биографии поэта, начатую в исследованиях А. А. Ахматовой и Т. Г. Цявловской (см.: Ахматова 1970: 188–190; Цявловская 1975: 44–46). Выводы Эйдельмана не получили в пушкиноведении признания (новое свидетельство критического к ним отношения см.: Парсамов 1998: 109–110), а между тем его взгляд на вопрос о причинах, в силу которых Пушкин не стал членом тайного общества, ближе всего к тому, что произошло в жизни поэта.

Эйдельман доказывал, что исходившие из декабристского лагеря слухи поэт почитал за клевету и не в последнюю очередь имел их в виду, когда писал в Михайловском и позднее о «небратском привет» новых (послелицейских) друзей. Упоминание в одесских черновиках «Онегина» о подозрениях в шпионстве, бытующих в каком-то дружеском кругу («Не посвящал друзей в шпионы» — Пушкин 1937–1949: Т. 6. С. 276), говорит о том, что подобного рода «репутация» могла актуализироваться, в первую очередь, среди «либералистов». Слухами этими Пушкин был глубоко уязвлен.

Упоминания поэта о клеветнических измышлениях «друзей» и их «небратском привет» в написанных им произведениях (см. стихотворения «Коварность», «Дружба», «19 октября» (1825), XVIII и XIX строфы главы четвертой «Евгения Онегина», первую редакцию «Воспоминания» и др.) противоположны тому, что писалось об этом в мемуарах декабристов. Вот, например, воспоминания И. Д. Якушкина. По свидетельству мемуариста, Пушкин сказал уезжавшей в Сибирь А. Г. Мура-

вьевой: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стоил этой чести» (Якушкин 1951: 43).

О том же вспоминал Пущин: «**Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям**» (Пущин 1989: 71).

Неужели Пушкин действительно был согласен в этом вопросе со своим другом? Или просто, как воспитанный человек и радушный хозяин, принимающий у себя дорогого гостя, не стал спорить и огорчать его... Но каков же тогда вес пушкинского «*может быть*» в тексте Пущина! Эти слова говорят о том, что Пушкин вовсе не был согласен с подобным приговором.

Эйдельман считал, что источником клеветнических слухов о Пушкине, которые дошли до васильковских декабристов (С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и др.) и потом были переданы Горбачевским, был Александр Раевский. Ему осенью 1824 г. поэт посвятил стихотворение «*Коварность*», в котором произнес «приговор» козням своего лицемерного друга. Цель, которую преследовал Раевский, действуя в Одессе против Пушкина, известна: он интриговал, стремясь удалить поэта из общества Е. К. Воронцовой, которую страстно любил. Малая толика заслуг Раевского, конечно же, была в том, что Пушкина сослали в псковскую деревню: он, видимо, что-то прошептал Воронцову, намекнув на жену и усилив его подозрения (хотя здесь была и более глубокая интрига, не позволяющая думать, что наговоры Раевского — единственная причина ссылки Пушкина; см. об этом: Аринштейн 1982). Однако можно ли это назвать «клеветой»? Разве «клевета» то, что Воронцова была возлюбленной поэта? И расставшись с Пушкиным, она, что очень важно, не изменила своего отношения к нему. Так о какой же клевете Александра Раевского говорил Пушкин в стихотворении «*Коварность*»?

Человек, сыгравший, как я думаю, роковую роль в истории отношений Пушкина с деятелями декабристского движения на юге, скрыт в тени Александра Раевского. В показаниях Следственному комитету он называл Раевского своим «**братом**» (ВД XX: 172). Это был Михаил Орлов, женатый на Екатерине Николаевне Раевской (о дружбе, связывавшей Орлова и А. Раевского, см.: Галушко 1991: 89–91). Отношения Пушкина с Орловым в Кишиневе, а затем в Одессе закончились резким охлаждением (этому эпизоду пушкинской биографии посвящена моя статья — см.: Березкина 1996 — поэтому в настоящей работе он не рассматривается; подробную библиографию по теме «*Пушкин и Миха-*

Встреча с И. И. Пущиным 11 января 1825 г. в творческих откликах А. С. Пушкина

ил Орлов» см. в этой же статье). Об Александре Раевском Пушкин в 1830-х гг. упоминал с иронией, а вот о Михаиле Орлове — со стойким недоброжелательством. 11 мая 1836 г. Пушкин писал жене: «Орлов умный человек и очень добрый малый, но до него я как-то не охотник по старым нашим отношениям» (Пушкин 1937–1949: Т. 16. С. 114). Думаю, поэт связывал именно с Орловым свою негативную характеристику, распространявшуюся на юге в начале 1820-х гг. Александр же Раевский сыграл во всей этой истории более чем неприглядную роль: от него Пушкин узнавал слухи о себе, он же их и распространял (см. в тексте *«Коварности»*: «Но если сам презренной клеветы Ты про него невидимым был эхом»). Видимо, об этой необыкновенной игре с «пугливым воображением» поэта идет речь в стихотворении *«Коварность»*.

Разговор с Пущиным в Михайловском мог напомнить Пушкину о его давних «приятелях» (кстати, Орлов, с момента его отстранения от командования дивизией в 1823 г., жил там же, где и Пущин — в Москве). Это была новая встреча с той же негативной репутацией, которая уязвляла его на юге. Прошло совсем немного времени с момента приезда Пущина, и около (не позднее) 25 января 1825 г. Пушкин пишет одну из своих самых беспощадных эпиграмм. Вот ее текст:

Приятелям

Враги мои, покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

Кому Пушкин угрожал в этой эпиграмме? Что касается «индеек», то, если учесть, что в XVIII — первой половине XIX вв. слова «американец» и «индеец» были синонимами (такое словоупотребление встречается и в языке Пушкина), эту угрозу вполне можно отнести к Федору Толстому-Американцу, с которым поэт был в смертельной ссоре, начиная с 1820 г. Но кто же тогда другие «приятели»? Высказывалось мнение, что автор среди них числил П. А. Вяземского. Едва ли это так, поскольку свою эпигramму, с просьбой отдать ее в печать, Пушкин

послал именно ему. Этот жест говорит о том, что Пушкин не относил Вяземского к числу своих «приятелей»-врагов (во всяком случае, других эпизодов, когда поэт вручал эпиграмму ее адресату со словами «напечатать где-нибудь», неизвестно).

Вяземский автора эпиграммы понял очень хорошо. Когда пришло время публикации письма Пушкина от 25 января 1825 г., в котором был послан в Москву текст «*Приятелям*», Вяземский поступил с ним следующим образом. При изготовлении копии для П. И. Бартенева, издателя «*Русского архива*», он отделил от стихотворного текста предшествующий ему фрагмент письма. Из одного пушкинского письма Вяземский сделал два и при этом еще переставил их местами: конец стал первым письмом (оно сразу же начиналось с текста «*Приятелям*»), а начало — вторым; так письмо Пушкина от 25 января 1825 г. и было напечатано в 1874 г. на страницах «*Русского архива*». Чем же был опасен фрагмент письма, подводивший Вяземского к тексту эпиграммы?

Эта часть пушкинского письма полна напоминаниями об «*Арзамасе*». Саму же эпиграмму поэт назвал «стишками в... духе [Василья Львовича]» Пушкина. Имя арзамасского старосты (слова «Василья Львовича») Вяземский вымарал из письма Пушкина, но не дочерна, что, в конце концов, и позволило его прочитать (Пушкин 1937–1949: Т. 13. С. 136 — в публикации его имя заключено в прямые скобки). В. Л. Пушкин был в высшей степени добродушным человеком. С темой язвительной эпиграммы А. С. Пушкина в его наследии перекликается лишь одно произведение — послание «*К ****», адресованное «арзамасцам» (слова из него «Их дружество почти на ненависть похоже» получили особую известность в кругу «*Арзамаса*»). Послание было написано в 1816 г. в знак протеста против приятелей, которые подвергли его насмешкам, граничащим с издевательствами. Инцидент с В. Л. Пушкиным приобрел в глазах «арзамасцев» символический смысл. Жуковский писал Вяземскому 12 ноября 1818 г.: «Мне бы не хотелось, чтобы ты в твоём обхождении со мною сбивался несколько на обхождение с Василем Львовичем. <...> Я не должен быть для тебя буффоном; оставь это для Арзамаса» (цит. по: Арзамас 1994: 349). Наконец, в письме Вяземского к А. И. Тургеневу от 18 июня 1822 г.: «Ты как Василий Львович: его арзамасскими гусями защищали, и он в послании к Арзамасцам запел лебедем» (цит. по: Арзамас 1994: 387).

Контекст пушкинского письма указывает, что в эпиграмме «*Приятелям*» поэт неслучайно заговорил об угрозе в адрес «гусей», т. е. «арзамасских гусей» (так называли себя члены «*Арзамаса*»). На юге

Пушкин имел столкновение с двумя «арзамасцами». Первым был Д. П. Северин, на которого поэт написал в 1823 г. эпиграмму «Жалоба» («Ваш дед портной, ваш дядя повар...»), вторым — М. Ф. Орлов. О неладах личного плана в кишиневских взаимоотношениях Орлова и Пушкина существуют свидетельства В. П. Горчакова и П. И. Долгорукова: в своих воспоминаниях они писали о «вольностях» молодого поэта, которые генерал не оставлял без внимания, стараясь их пресечь. В обострении отношений между ними могла сыграть свою роль эпиграмма непристойного характера «Орлов с Истоминою в постеле...», которую поэт написал в Петербурге в 1817–1818 гг. Намеки такого же плана содержались и в письме Пушкина к А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 г., где говорилось о женитьбе Орлова. Александр Тургенев был очень нескромным в отношении пушкинских писем человеком, и насмешки поэта над богатырем Орловым, который, судя по текстам Пушкина, был как-то непропорционально сложен, вполне могли дойти до Кишинева через Петербург. Похоже, Орлов этих насмешек Пушкину не простил.

Стати, в черновике эпиграммы «Прятелям» упоминается умерший человек, который «ушел» от мстительного пера поэта («Один из вас убрался на покой», «Хоть от меня ушел один из вас» — Пушкин 1937–1949: Т. 2. С. 927). Известен лишь один «приятель» Пушкина, который скончался в период, близкий к моменту создания эпиграммы. Это Константин Алексеевич Охотников (около 1794 — не позднее начала апреля 1824), член тайных обществ, адъютант и друг М. Ф. Орлова, человек весьма своеобразный и не простой в общении даже для своих друзей (см. о нем: Немировский 1987). Комментарий вариантов эпиграммы с упоминанием умершего приятеля может быть дан с двух позиций: это или указание на то, что персонаж первоначальной редакции неизвестен, или же указание на К. А. Охотникова, поскольку другой кандидатуры в пушкинской биографии в период за 1823–1824 гг. просто нет (то же, впрочем, можно сказать и о годах более ранних, вплоть до 1820 г.; подробнее см.: Березкина 1996: 246).

С Михаилом Орловым, авторитетнейшим представителем декабристского движения на юге России, П. А. Вяземский был в большой дружбе до последних дней его жизни. В так называемой «Приписке к статье „Цыганы. Поэма Пушкина“» (1875) Вяземский писал об отношениях «политических сектаторов двадцатых годов» к поэту:

«Многие из них были приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника и, к счастью его самого и России, они оставили его в покое,

оставили в стороне. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25-го года, нежели желанию, как многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу России» (цит. по: Пушкин в восп. 1985: 121).

Мнение Вяземского достаточно авторитетно: оно вполне могло опираться на высказывания по этому поводу самого Орлова. За словами Вяземского, намекавшего на отсутствие у Пушкина близких заговорщикам политических убеждений, что, конечно же, более чем спорно, стоит, скорее, все та же негативная репутация поэта в кругу декабристов.

Одно дело было сказать «нет» в ответ на предложение вступить в тайное общество, как это сделали А. Н. Раевский, В. А. Жуковский и П. А. Вяземский, а другое — быть отстраненным от участия в нем из-за каких-то своих личных качеств («глупостей»). Поэт чувствовал себя запятанным клеветнической репутацией и, видимо, в ответ на новую встречу с ней в Михайловском написал свою эпигramму «*Друзьям*».

Негативный след от михайловских бесед Пушкина с Пуциным не исчерпывается историей этой эпигramмы. В 1825 г. после приезда из Михайловского в Москву Пуцин трижды обращался к Пушкину с письмами (18 февраля, 12 марта, 2 апреля) — Пушкин ответил лишь на одно из них. Трижды Пуцин вопрошал в своих письмах об обещанном ему послании. Но Пушкин его написать в 1825 г. так и не смог! Первая редакция послания, как заметил еще Н. Я. Эйдельман, писалась поэтом с огромным трудом (см.: Эйдельман 1981: 95–102, 106–108). Пушкин оставил работу там, где началось воспевание нового поприща, на которое вступил, свято исповедуя принципы гражданского долга, Пуцин (служба в Московском надворном суде). Послание, счастливо переписанное в конце 1826 г. и обрадовавшее ссыльного декабриста при его приезде в Читку обращением «*Мой первый друг, мой друг бесценный...*», в 1825 г. было отложено в сторону. Эйдельман считал, что возвращение к работе над посланием стало возможно, когда из отношений двух друзей исчезли недомолвки, разделившие их на пороге грозного 1825 года (Эйдельман 1981: 108).

В послании «*Мой первый друг...*» Пушкин сделал то, чему решительно воспротивился Пуцин в январе 1825 г.: он придал своей участи политическое значение, поставив в один ряд две ссылки — свою и друга — и подчеркнув их соотнесенность посредством синтаксического параллелизма («*И я судьбу благословил, Когда мой двор уединенный <...> Твой колокольчик огласил <...> Да голос мой душе твоей Дарует то же утешенье*»).

В позднейших отражениях перипетий своей жизни Пушкин, касаясь событий, связанных с тайным обществом и выступлением 14 декабря, часто прибегал к одному образу — это была буря, в которой он спласс чудесным образом (см. стихотворения *«Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной»*, *«Арион»* и др.).

Действительно, здесь есть чему удивляться, — подобно Соболевскому, который вопрошал в Москве Пушкина в 1826 г.: **«Я как-то изъявил свое удивление Пушкину о том, что <...> он не принадлежал ни к какому <...> тайному обществу»** (цит. по: Пушкин в восп. 1985: 11). Как это могло случиться? Вольнолюбивые стихи Пушкина знали многие члены тайных обществ, широко распространялись рассказы о его дерзких либеральных выходках, поэт дружески общался с видными представителями движения, открыто вел опасные политические разговоры... Об этом он сам писал Жуковскому в январском письме 1826 г., в котором выражал опасения по поводу своей участи перед лицом возможных правительственных репрессий (Пушкин 1937–1949: Т. 13. С. 257–258). Поэт участвовал в обсуждении острых политических тем и в кругу членов тайных обществ (см. свидетельство декабриста И. Н. Горсткينا об одном из собраний такого рода и его анализ: Нечкина 1952: 155–166), и в обществе *«Зеленая лампа»*, и на собраниях масонской ложи *«Овидий»* в Кишиневе. А главное: желание быть принятым в тайное общество у поэта было огромным! И то, что оно не исполнилось, наполняло поэта горечью. Он проклинал клеветников, грозил им из ссылки своим сатирическим пером... Однако то, что казалось поношением, обернулось благом. И поэт заговорил о чуде, а затем — о Провидении: **«Но здесь меня таинственным щитом Святое провиденье осенило...»** (Пушкин 1937–1949: Т. 3. С. 994) — эти слова в черновой рукописи стихотворения *«...Вновь я посетил...»* (1835) были написаны о годах, проведенных в михайловской ссылке. Мысль о Провидении стала итоговой в раздумьях Пушкина о своей удивительной судьбе — судьбе певца, таинственным образом спасенного во время бури 1825 года.

Литература

Арзамас 1994 — «Арзамас»: Сб. в 2 кн. / Под общей ред. В. Э. Вацура и А. Л. Осповага. М., 1994. Кн. 2.

- Аринштейн** 1982 — *Аринштейн Л. М.* К истории высылки Пушкина из Одессы: Легенды и факты // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 286–304.
- Ахматова** 1970 — Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине // Вопросы литературы. 1970. № 1. С. 158–206.
- Бартенев** 1992 — *Бартенев П. И.* О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Гордина. М., 1992.
- Березкина** 1996 — *Березкина С. В.* «...И сторожит Индеек и Гусей» (Об адресате эпиграммы Пушкина «Прятелям») // Русская литература. 1996. № 3. С. 236–253.
- Березкина** 2001 — *Березкина С. В.* Почему Федора Толстого прозвали «Американцем»? // Русская литература. 2001. № 3. С. 92–95 (дополнение к: **Березкина** 1996).
- Березкина** 2003 — *Березкина С. В.* Александр Бестужев — адресат эпиграммы Пушкина «Прозаик и поэт» // Русская литература. 2003. № 2. С. 60–66.
- Берков** 1966 — *Берков П. Н.* К толкованию стихотворения Пушкина «Заступники кнута и плети...» // Изв. АН СССР. Серия лит-ры и языка. 1966. Т. XXV. Вып. 6. С. 509–513.
- Бестужев** 1981 — *Бестужев-Марлинский А. А.* Соч.: В 2 т. / Сост., подгот. текста и комм. В. И. Кулешова. М., 1981. Т. 2.
- Брюсов** 1919 — *Пушкин А. С.* Поли. собр. соч. / Ред., вступ. ст. и примеч. В. Я. Брюсова. М., 1919. Т. 1. Ч. 1.
- Булгарин** 1998 — Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Изд. подгот. А. И. Рейтблат. М., 1998.
- Вацуро** 1999 — *Вацуро В. Э.* Продолжение спора (О стихотворениях Пушкина «На Александра I» и «Ты и я») // Звезда. 1999. № 6. С. 148–158.
- ВД XX** — Восстание декабристов. Документы. М., 2001. Т. XX.
- Виноградов** 1964 — *Виноградов В. В.* О принципах и приемах чтения черновых рукописей Пушкина // Проблемы сравнительной филологии. М.; Л., 1964. С. 277–290.
- Виролайнен** — *Виролайнен М. Н.* Комментарий к элегии «Андрей Шенье» для нового академического собрания сочинений Пушкина. Т. 3 (в печати).
- Галушко** 1991 — *Галушко Т. К.* «Раевские мои...». Л., 1991.
- Гессен** 1935 — *Гессен С. Я.* Пушкин в Каменке // Литературный современник. 1935. № 1. С. 191–205.
- Гессен** 1936 — *Гессен С. Я.* Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2. С. 361–384.
- Греч** 1930 — *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930.
- Жуковская** 1999 — *Жуковская Т. Н.* «Тайные общества» 1810—1820-х гг. Феномен культуры в контексте политики // Культура: Сблзны понимания. Материалы научно-теоретического семинара (24–27 марта 1999 г.). Петро-заводск, 1999. Ч. 2. С. 79–91.

- Встреча с И. И. Пущиным 11 января 1825 г. в творческих откликах А. С. Пушкина*
- Летопись** 1991 — Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1991.
- Лит. наследство** 1954 — Литературное наследство. М.; Л., 1954. Т. 59.
- Лорер** 1988 — *Лорер Н. И.* Записки моего времени // Мемуары декабристов / Сост, вступ. ст. и комм. А. С. Немзера. М., 1988. С. 313–545.
- Немировский** 1987 — *Немировский И. В.* Декабрист К. А. Охотников, кишиневский знакомый Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1987. Вып. 21. С. 137–146.
- Нечкина** 1952 — *Нечкина М. В.* Новое о Пушкине и декабристах // Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 155–166.
- Парсамов** 1998 — *Парсамов В. С. А. С. Пушкин* в оценке декабриста И. И. Горбачевского (из комментариев к письму И. И. Горбачевского М. А. Бестужеву от 12 июня 1861 года) // Историографический сборник. Саратов, 1998. Вып. 17. С. 108–114.
- Переписка** 1982 — Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1.
- Писатели-декабристы** 1980 — Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и прим. Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович, И. Б. Мушиной. М., 1980. Т. 2.
- Пушкин** 1937–1949 — *Пушкин А. С.* Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937–1949.
- Пушкин** 1956–1958 — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М.; Л., 1956. Т. 2. С. 311.
- Пушкин** 1959–1962 — *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 2. С. 522.
- Пушкин** 1974–1978 — *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 2. С. 408 (текст эпиграммы «Заступники кнута и плети...»), 616–617 (комментарий к ней).
- Пушкин в восп.** 1985 — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вст. ст. В. Э. Вацуро; Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович и др. М., 1985. Т. 2.
- Пущин** 1989 — *Пущин И. И.* Записки о Пушкине. Письма / Сост., вступ. ст. и комм. М. П. Мироненко и С. В. Мироненко. М., 1989.
- Раб. тетр. Т. 4** — *Пушкин А. С.* Рабочие тетради: [Факсим. изд. в 8-ми т.] / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом), Консорциум сотрудничества с С.-Петербургом / Руководители совм. проекта Э. Холл, С. А. Фомичев. СПб.; Лондон; Болонья, 1996. Т. 4.
- Рогова** 1991 — *Рогова А. И.* Стихотворение А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...»: (Текстологические проблемы) // Русская литература. 1991. № 4. С. 99–114.
- Рогова** — *Рогова А. И.* Комментарий к стихотворению «Во глубине сибирских руд...» (1826–1827) для нового академического собрания сочинений Пушкина. Т. 3 (в печати).

- Сандомирская** 1974 — *Сандомирская В. Б.* «Андрей Шень» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. С. 8–34.
- Семевский** 1869 — *Семевский М. И.* К биографии Пушкина // Русский вестник. 1869. № 11. С. 61–107.
- Слонимский** 1908 — *Слонимский А. Л.* Пушкин и декабрьское восстание // Пушкин. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. 2. С. 503–530.
- Справка** 1901 — Справка о Льеве Сергеевиче Пушкине // Русская старина. 1901. № 2. С. 436.
- Фейнберг** 1981 — *Фейнберг И. Л.* Читая тетради Пушкина. М., 1981. С. 19–34.
- Фомичев** 1983 — *Фомичев С. А.* Рабочая тетрадь ПД № 835 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 62.
- Цявловская** 1941 — *Цявловская Т. Г.* Из черновых текстов Пушкина. I. Политическая эпиграмма // Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941. С. 31–36.
- Цявловская** 1961 — *Цявловская Т. Г.* «Муза пламенной сатиры» // Пушкин на юге: Труды Пушкинских конференций Кишинева и Одессы. Кишинев, 1961. Т. 2. С. 170–171.
- Цявловская** 1966 — *Цявловская Т. Г.* «Заступники кнута и плети...» (Споры вокруг стихотворения Пушкина) // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1966. Т. XXV. Вып. 2. С. 123–133.
- Цявловская** 1975 — *Цявловская Т. Г.* «Храни меня, мой талисман...» // Прометей. М., 1975. Кн. 10. 2-е изд., испр. С. 12–84.
- Щеголев** 1931 — *Щеголев П. Е.* Пушкин: Исследования, статьи и материалы. М.; Л., 1931. Т. 2: Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд., испр. и доп.
- Эйдельман** 1979 — *Эйдельман Н. Я.* Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979.
- Эйдельман** 1981 — *Эйдельман Н. Я.* Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1981.
- Якушкин** 1951 — *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма / Ред. и коммент. С. Я. Штрайха. М., 1951.